

УДК 821.161.1'94

Д.С. Бураго

**ВЫНУЖДЕННАЯ ПРИЗЕМЛЕННОСТЬ ПОЛЕТА...
МЕМУАРЫ КСЕНИИ КУПРИНОЙ «КУПРИН – МОЙ ОТЕЦ»**

Вопрос «Куприн и быт» – проблема немаловажная и все еще весьма актуальная, особенно же ввиду того, что Куприн постоянно стремился, но без особого успеха, наладить свой домашний быт. В каком-то смысле, ситуация эта символична для эпохи, когда Русский Поэт как таковой оказался гонимым в собственной отчизне, но не обрел под ногами твердой почвы и в эмиграции. Человеческая и писательская судьба Куприна оказалась возможна лишь на русской почве, и отрыв от нее оказался губительным.

Данная публикация ставит своей целью восстановить этот досадный пробел. При этом биографический подход может послужить точкой опоры для уяснения писательской концепции Дома и Быта, которая при ближайшем рассмотрении окажется достаточно сложной и драматичной. Мемуары Ксении Куприной «Куприн – мой отец» оказываются в этом отношении ценнейшим, хотя и не оцененным до конца, материалом.

В журнале «Огонек» за 1959 год была размещена заметка М. Поляковского «Ксения Куприна на родине», где сообщается о возвращении дочери писателя на родину с архивом отца. Автор материала приводит слова Куприной: «Я постараюсь написать книгу воспоминаний об отце, рассказать о том, как тяжело переживал он годы эмиграции» [9, с. 28], которая увидит свет в Москве в 1978. Нельзя сказать, что научно-критическая литература об этих мемуарах богата: по сути, существует лишь послесловие О. Михайлова к данной книге, но и тут возникает достаточно вопросов.

«Ксения Куприна, дочь замечательного русского писателя, рассказала о том, что она знает и помнит о своем отце <...> Автор книги «Куприн – мой отец» описывает, естественно, прежде всего то,

что сама увидела, запомнила, пережила», – начинает О. Михайлов в духе некоторой объективности, но скрыть странную неприязнь к особе К. Куприной далее даже и не пытается: активно педалируются «незрелость» и «некоторая наивность» мемуаристки, особенно же когда речь заходит о степени понимания как отцом, так и дочерью, значения Великой Октябрьской социалистической революции; неодобрительно упоминается о стремлении молодой артистки «засверкать пусть небольшой, но голливудской звездочкой» (в Голливуде, впрочем, К. Куприна и не бывала, во время эмиграции она снималась в европейском кино); ей инкриминируются бездушие по отношению к прозябающим в нужде родителям и непонимание масштаба личности отца; «даже живя вместе с родителями, Ксения Александровна не задумывалась над тем, что ей когда-либо придется обращаться к своей памяти для написания мемуаров. Отсюда и внешнее, несколько поверхностное изображение...». В общем, вывод О. Михайлова неутешителен: «Ксения Куприна – не литературовед, не критик. Ей, понятно, не под силу во всей полноте воссоздать яркую и противоречивую фигуру знаменитого писателя» [5, с. 268-269]. Более развернуто об этом сказано в книге О. Михайлова «Куприн»: «Теперь вечерами за ней приезжали веселые, беззаботные компании в дорогих автомашинах. А дома частенько был выключен газ и электричество за неуплату. Почти все гонорары уходили на престижные туалеты» [4, с. 61]. Да и В. Окулов, советский разведчик, работавший в те годы в советском посольстве в Париже, замечает в своих мемуарах «Явка до востребования»: «В ее отношении к родителям стали проявляться снисходительность и превосходство», хотя с падением русского кино в Париже все это само собой прекратилось [7]. Понятно, впрочем, и то, отчего друживший с К. Куприной В. Оболенский не удержался от сильных выражений, сочтя, что О. Михайлов написал «гнусный пасквиль», в котором «облил помоями» покойную мемуаристку [6]. Но все же, за вычетом претензий, продиктованных идеологическими табу и привкуса кастового советского литературоведческого чванства, замечания О. Михайлова не лишены серьезной притязательности и в основном не искажают реальных пропорций. Верно отмечено и

такое: «В эти же годы мелеет и самый быт, атмосфера, в которой живет стареющий и уже больной писатель. Находившийся ранее в среде самых интересных людей России, в сердцевине ее духовной жизни, близко общаясь с Чеховым, Горьким, Буниным, Шаляпиным, дружа с тонким и глубоким критиком Батюшковым, приятельски встречаясь со множеством русских самородков – летчиком Уточкин-ым, борцами Поддубным и Заикиным, цирковыми артистами Дуровым и Жакомино, – Куприн живет в эмиграции тихо и скромно, «на отшибе», не принимая новой жизни и утратив возможность жизни прежней» [5, с. 271]. Конечно, О. Михайлов, что называется, принимал близко к сердцу горемычную жизнь Куприна-эмигранта: он пытался разобраться в причинах этих злослучений и справедливо находил их столь же благородными, сколь и нелепыми: «Бедность Куприна, – вспоминал близко знавший его Н. Роцин, – не была, конечно, «мансардной». Устраивались вечера для Куприна, собирались деньги между обеспеченными его поклонниками. Но при совершенной беспомощности Александра Ивановича, при полной неопытности в практических делах его жены, добрейшей Елизаветы Морицовны, неизменно опекавшей двух-трех калек или неудачников, при том, что семью заедали долги, подчас совершенно нелепые, а с другой стороны – в купринском доме немислим был отказ в деньгах даже человеку с улицы, если был в наличности хоть грош, – при всем этом ясно было, что как-то по-другому надо организовать жизнь этих людей-детей. И, право, когда, войдя в дом, я чувствовал смущение, когда затем выяснилось, что на всю семью знаменитейшего русского человека есть в доме два помидора и кусок вчерашнего хлеба, – право, делалось мне оскорбительным наше «равенство в подвиге». Эта драматическая, трагическая страница жизни Куприна, его бедный эмигрантский быт, его мыкания, кстати, показаны в воспоминаниях Ксении Александровны наиболее ярко и убедительно <...> Ксения Куприна написала книгу, в которой – при всем том критическом, что было высказано выше, – отображены жизненно достоверно черты человека и художника <...> творчество которого является нашим неотъемлемым национальным достоянием. Со страниц воспоминаний

возникает живой Куприн, с теми психологическими и бытовыми подробностями, которые знает и помнит только его дочь» [5, с. 271-272].

Бесспорно, в позиции мемуаристки наблюдается достаточная моральная уязвимость. В частности, ее внезапный переход в лагерь сочувствующих советской власти, который и послужил толчком к тайной отправке родителей из Франции в СССР в 1937 году, выдержан в мемуарах в несколько натужной бравурно-декларативной тональности. Да и не была все же Куприна-младшая столь уж удачлива в своей карьере французской актрисы. Если у В. Оболенского, оказавшегося предельно чутким к тому, что ему рассказывала дочь писателя, дело обрисовано так, что К. Куприна просто-таки блистала на Западе, владела языками, играла сердцами и пожертвовала всем этим, поверив советской пропаганде [6], то в мемуарах В. Окулова вырисовывается иная картина: «О цели визита Ксения Александровна сказала просто и без обиняков: «Оказалась в затруднительном материальном положении. Зашла узнать, нет ли для нее в посольстве какой-нибудь работы». И добавила, что кроме русского и французского свободно владеет английским и немецким языками. Могла бы работать переводчиком, но только устным, поскольку языки учила походя, и писать ни на одном из них, в том числе и на русском, грамотно не умеет. И никаких документов об образовании у нее нет» [7]. Так что и в случае с родителями, и в данной конкретной ситуации, речь шла не столько о выборе идеологии, сколько просто о выживании. Но главное здесь, конечно, – не запоздавшие укоры, а стоящая за всем этим большая человеческая драма. К слову, В. Оболенский очень глубоко и доказательно обрисовал то равнодушие, даже некоторое презрение, которым оказалась окружена в Советском Союзе доверившаяся в свое время его мифологии К. Куприна [6].

В мемуарах Ксении Александровны внимание в самом деле сосредоточено в первую очередь на усилиях Куприна по созданию тихой житейской обители, этакого дома с садиком. Но нам представляется, что это все же было для него чем-то большим, чем имение с крыжовником чеховского Чимши-Гималайского или, если угодно,

современная мещанская дача, где можно сажать картофель для пропитания (хотя случалось Куприну и кормиться от своих земледельческих трудов). Дело в том, что на рубеже XIX–XX веков в сознании общества укрепляется, сменяя тэновскую идею определяющего воздействия среды, идея обратного воздействия человека на среду. Созидание собственного Дома и Сада, генетически восходящее к культуре римской виллы (вспомним Горация), становится к началу XX века настоящей мифологемой переустройства мироздания. Все это соответствовало тому образу некоего Эдема, который стремился воплотить на своей знаменитой ялтинской даче А.П. Чехов. Об этом, в частности, свидетельствует Максим Горький: «Я не видел человека, который чувствовал бы значение труда как основания культуры так глубоко и всесторонне, как А.П. <...> Он любил строить, разводить сады, украшать землю, он чувствовал поэзию труда. С какой трогательной заботой наблюдал он, как в саду его растут посаженные им плодовые деревья и декоративные кустарники! В хлопотах о постройке дома в Аутке он говорил:

– Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша!» [2, с. 430]. Куприн, у Чехова в Ялте бывавший, как мы увидим далее, эту идею, похоже, воспринял – именно в таком облагораживающем формате.

Но видеть Куприна только в таком ракурсе нельзя. В мемуарах его дочери, правда, в самом деле без особого углубления в ситуацию, отражено и то, что Куприн всегда мечтал летать. И не фигурально, а совершенно буквально. Он поднимался на воздушном шаре со своими друзьями, авиатором С. Уточкиным и с борцом Заикиным; полет с последним в Одессе закончился аварией, в которой писатель серьезно пострадал (очерк «Мой полет»). Но Куприн оставался постоянным гостем гатчинского аэродрома; тяжело переживал гибель русских лётчиков (рассказ «Потерянное сердце»). И это уже другое измерение. Ведь идеал индивидуальной домашней идиллии на лоне природы попирается, по сути, в авангардизме футуристической идеей «штурма неба» – а это не только не только мечты Циолковского о покорении космоса, не только реальные аэропланы

и смельчаки-летчики в желтых крагах, но и небоскребы, эта дерзкая модификация мифа о Вавилонской башне. В таком «человеческом муравейнике» уже нет места индивидуальности, как нет его в антиутопии Е. Замятина «Мы».

Таким образом, в сознании писателя обнаруживается известная раздвоенность. Да и оба пути закончились ничем. Полетать Куприну особенно не довелось: после тяжелой одесской катастрофы в воздух он больше не поднимался. Увенчались крахом и усилия по созданию собственного земного приюта; умер он на больничной койке приютившего его перед самой кончиной советского санатория. Оставим в стороне полеты в небо, с этим все ясно. Но отчего же Куприну так и не удалось построить свой Дом, как удалось это Чехову или, скажем, М. Волошину? Уж, не психологическая ли установка на «полет» тому помешала? Нужно безбоязненно сказать и о том, что писатель при этом страдал алкоголизмом, который, по мнению медиков, определяет противоречивость суждений, равно как пассивность и бездействие. И хотя мы приучены к трафарету «Писатель – Учитель Жизни», надо признать, что в данном случае в личности и жизненной позиции этого талантливейшего человека с самого начала прочитывается некая сломанность. Думается, что мемуары К. Куприной, даже при отсутствии в них ощущения трагического купринского двоемирия и глубины писательского разлада с действительностью, способны дать для понимания этой ситуации многое.

К. Куприна с самого начала отмечает, что ее отец никак не укладывался в стереотипы светского поведения: «Великосветским знакомым жены Александр Иванович предпочитал своих бесшабашных друзей, с которыми встречался в маленьких кабачках. Он не выносил над собою никакого насилия – слишком много ему пришлось в молодости унижаться перед начальством» [3, с. 21-22]. Это определило не-простоту семейной жизни писателя и разлад с первой женой. «Странно подумать, что, живя в одном городе со своей женой и ребенком, он снимал комнату в гостинице или уезжал в Лавру, в Даниловское либо в Гатчину, чтобы писать» [3, с. 27]. Просветы в этом нелегком состоянии отца К. Куприна радостно ощущает как

проблеск простого человеческого счастья, но при этом все же трезво фиксирует изначальную непрактичность и идеализм писателя, вознамерившегося с самого начала «преобразовать природу».

Приведем пространную цитату, из которой, как говорят, слова не выкинешь, и которая весьма красноречиво свидетельствует, что в купринской идее «дачи» изначально присутствовал не столько практицизм, сколько самый настоящий романтический идеализм: «Приятная полоса жизни Куприна связана была с Балаклавой <...> Сначала Куприны жили в гостинице, впоследствии снимали дачу неких Ремизовых. Несмотря на протесты Марии Карловны, Александр Иванович купил участок в получасе ходьбы от Балаклавы на склоне Лысой горы на балке Кефало-Брисы – свой первый собственный клочок земли. Куприна всегда привлекало садоводство. Еще перед тем как выровнять площадку посередине склона для будущего дома, он начал выписывать семена редких растений, посадил виноградник, фруктовые деревья. Он так много и красочно описывал впоследствии мне тот участок, что в моем воображении он стал какой-то сказочной тропической плантацией. Увидела я этот участок после утомительного восхождения под жарким солнцем многие десятки лет спустя. Осталось три тополя и площадка так и не построенного купринского домика. Вокруг все голо, выжжено. Я стояла в недоумении, но вспомнила слова отца в ответ на вопрос, почему он купил участок в Балаклаве и думает развести сад там, где земля каменистая и неплодородная: «Вот именно поэтому и хочу здесь развести сад и поставить виноградник. Если каждый поставит себе целью жизни хоть один клочок пустынной и неудобной земли превратить в сад, то весь мир через несколько сот лет превратится в цветущий рай» [3, с. 22].

Но при этом ощущение фатальной бездомности, характерное для мальчика, выросшего в нищете, в разлуке с матерью, в стенах Александровского малолетнего сиротского училища, для человека, подпитывавшего свое детское самоуважение смутными преданиями о былом богатстве семьи, прокученном буйными татарскими предками, похоже, никогда не оставляло Куприна.

«В феврале 1907 года Куприн ушел из дома; он поселился в петербургской гостинице «Пале-Рояль» и стал сильно пить. Федор Дмитриевич Батюшков, видя, как Александр Иванович губит свое железное здоровье и свой талант, взялся разыскать Лизу. Он нашел ее и стал уговаривать, приводя именно такие аргументы, которые только и могли поколебать Лизу. Он говорил ей, что все равно разрыв с Марией Карловной окончателен, что Куприн губит себя и что ему нужен рядом с ним именно такой человек, как она. Спасать было призванием Лизы, и она согласилась, но поставила условием, что Александр Иванович перестанет пить и поедет лечиться в Гельсингфорс» [3, с. 27].

Как и следовало ожидать, начинание с балаклавским имением закончилось ничем, хотя Куприн как будто старательно вникал во все хозяйственные проблемы. К. Куприна цитирует письмо отца к Ф. Батюшкову, написанное в Гурзуфе, где Куприн и его вторая жена Лиза оказались после лечения: «Я решил продать Балаклаву за шесть тысяч рублей, из которых большую половину отдам Марии Карловне. Подумай, платить каждый месяц сторожу, платить налоги, платить работникам за посадку, садовникам, в плодовый питомник и т. д. и т. д. – и не иметь возможности даже выехать в эту землю обетованную, действительно ужасно оскорбительно! Доверить же это все Марии Карловне никак нельзя. Она не будет ровно ничего платить, земля останется без призора, виноградник быстро выродится и станет не плюсом, а минусом земли, фруктовые деревья одичают, и земля потеряет стоимость» [3, с. 27-28]. В следующем цитируемом дочерью письме Куприна рисуется гурзуфский быт, странно напоминающий типичный крымский отдых рядового советского отпускника: «...Живем в Гурзуфе, у самого моря. Соседей нет. Но есть третья свободная комната и в ней кровать. Есть также готовый стол. И так, если некто вдруг возьмет и приедет в Гурзуф, на дачу Максимо-вич, – то кроме радостной встречи он найдет еще все готовые удобства (кроме „удобства“, которые – увы! – в первобытно-даниловском виде), морское купанье, верховую езду, рыбную ловлю, а главное, нетерпеливо ожидающего соскучившегося друга» [3, с. 28-29].

Крайняя непритязательность свойственна и «настоящей» уже, гатчинской квартире Куприна. К. Куприна цитирует А. Измайлова, который в газете «Русское слово» (1909 г.) описывает гатчинский быт писателя так: «Последний год Куприн живет в Гатчине. Минутах в пяти ходьбы от вокзала стоит большая деревянная дача, где он снимает верх. Его уже знают здесь, как „заслуженного обывателя“, и полицейские козыряют ему, как знакомому <...> Но ничто ни около дачи, ни в обстановке ее внутри не подскажет вам, что здесь живет „знаменитость“. Скромнен и сам кабинет Куприна <...> Пара больших диванов с коврами на стенах и на полу, две-три карикатуры известного карикатуриста Щербова, друга и соседа Куприна. Никаких картин, никаких портретов, кроме, впрочем, одного. Обстановка почти студенческая. В углу письменный стол с „живописным беспорядком“ и рядом – сооружение для писания стоя с корректурами последних работ – не то верстак, не то маленький бильярдный стол <...> Почти демонстративное отсутствие заботы об убранстве, порядке или „впечатлении“» [3, с. 33].

Мечта о гонораре за предполагаемый роман облекается в письмо к матери Ксении в конкретное обличье: «За 8000 купили бы недвижимость с садом и огородом!!! Для Ксюшеньки. Целую тебя, обнимаю, желаю здоровья» [3, с. 36]. Но все оборачивается иначе. «В середине февраля 1909 года Александр Иванович с семьей решает ехать в Житомир, где временно останавливается у своей сестры Зинаиды Ивановны Нат <...> Но вскоре, не желая обременять Натов, у которых было трое детей, мои родители сняли домик. По мере того как мы переезжали из города в город, с квартиры на квартиру, понемногу невольно обрастали скарбом. Каждый переезд становился сложнее и хлопотливее <...> Отца и мать не покидала мысль купить где-нибудь небольшую усадьбу. Отец старался как можно больше работать, чтобы иметь возможность ее приобрести <...> Он сообщал Батюшкову 10 марта 1909 года, что уже написал более пяти печатных листов, чтобы сколотить деньги на землю» [3, с. 36-37]. Но финансовые вопросы решались трудно. Между тем Куприным снова овладела охота к перемене мест: «Житомир не нравился Куприну. Он

иронически пишет Батюшкову, что город населяют вовсе не люди, а деревянные идиоты, чиновники, отставные генералы, монахи и главным образом – маклеры <...> Материальные дела становятся все хуже. Отец жалуется, что в то время, когда он мучительно обдумывал «Яму», приходилось бегать по Житомиру в поисках денег, «бебехи» были заложены. Чем больше Александр Иванович живет в Житомире, тем менее привлекает его жизнь в этом скучном украинском провинциальном городке. Он мечтает о Балаклаве, с которой у него связано столько воспоминаний, и пишет о том, что до сих пор, несмотря на все хлопоты, он не может поселиться в тех местах, откуда... был выслан в 1905 году» [3, с. 37]. Но, вопреки старательно сделанным житейско-финансовым выкладкам о неспособности первой жены хозяйствовать в Балаклаве, которые изложены были в письме к Батюшкову, «...расставшись с Марией Карловной, отец оставил ей домик в Балаклаве и право на все произведения, написанные до их разрыва»; при этом «он, несмотря на свою известность, постоянно испытывал денежные затруднения. Он не умел работать систематически, и обязательства тяготили его. Часто он жаловался на издателей, говорил, что писатель – самый бесправный человек, которому достается решительно от всех: от публики, от административного начальства, наконец, от голода на старости лет» [3, с. 37].

Тем не менее, «южный миф» продолжал манить Куприна. Верно замечено, что, хотя у писателя и не стал магистральным традиционный сюжет «благословенного юга» и «проклятого севера», анализ его «южных» произведений все же свидетельствует, что юг становится для Куприна неким смысловым магнитом, а пространство юга локализуется в границах приморского – преимущественно крымско-одесского – региона; его наиболее значимыми единицами становятся: *южный (приморский) город, дача, пароход; море* же выступает почти исключительно в функции символа, значения которого предстанут обусловленными как традицией, так и индивидуальным контекстом купринских произведений [8].

Словом, Куприны устремляются к морю: «В конце августа 1909 года мы переезжаем в Одессу, где вскоре снимаем квартиру с видом

на море. Для Куприна начинается довольно бурный одесский период <...> Отец всегда вспоминал об Одессе с особой нежностью» [3, с. 39]. Тем не менее, идиллии не получалось: «Шаткое материальное положение, неустроенность, вечные денежные затруднения, ядовитые уколы всевозможных газет, – хотя отец принимал многое с большим юмором, – не могли, конечно, не отразиться на его настроении, на его творчестве, для которого ему необходимы были тишина и покой. Мама оберегала его как могла, но она была тогда еще молодой и очень неопытной, не всегда могла совладать со стихийным нравом Александра Ивановича. Часто у отца случались приступы отвращения к жизни и к себе, усталости и неврастении. Тогда он прибегал к алкоголю, который всегда действовал на него раздражающе» [3, с. 40]. Он мог спьяну застрять в каком-то закоулке, и его в бесчувствии приводили домой. С жильем, впрочем, что называется, подфартило. К. Куприна цитирует письмо отца к Ф. Батюшкову: «Живем на даче на Б. Фонтане. Огромный дом, со светелкой для меня наверху, много комнат, и все это навязал мне – представь, бесплатно! – какой-то еврей, мой пылкий поклонник. Конечно, я его вознагражу по-царски! Но кругом уже разъехались все дачники, мы одни. Лиза пугается, нет припасов, по ночам воют на луну брошенные собаки, а в окрестностных дачах жулики обдирают оставшиеся балконные занавески» [3, с. 40-41].

Поклонники, впрочем, бывали разные, и даже переезд в центр города от них не защищал. К. Куприна цитирует купринское интервью той поры: «Опасно мне иметь квартиру где-нибудь в центре города. Сильно одолевает начинающий писатель. Носит, носит рукописи без конца. Ну, хорошо, принес – оставит. Я не имею решимости отказать в просмотре, принимаю, обещаю дать ответ. Но беда-то в том, что юные собраты часто остаются недовольны моим отзывом и слишком резко выражают мне лично свое неудовольствие. Да не так уж просто, а почти с бранью и с упреками в нежелании поддержать начинающего писателя» [3, с. 42].

Неустроенность – лейтмотив и самой купринской жизни, и мемуаров его дочери. «Все это время мне плохо писалось. То переезды, то

Ксеночка больна. А ты знаешь Елизавету – когда у нее болен ребенок, то весь дом обращается в мерзость запустения, и мне в нем нет места <...> На зиму, вероятнее всего, мы останемся в Одессе. Ищем квартиру» [3, с. 41].

Можно сколько угодно распространяться о бездушии Ксении Александровны по отношению к родителям, но все же в ее рассказе проглядывают детали, свидетельствующие не об одной лишь нежной родительской любви и заботе. Похоже, что отцовский аскетизм и житейская безалаберность вызывают у мемуаристки скрытую тоску, а отцовский довольно бурный образ жизни не всегда оставлял места для занятий ребенком. «В начале мая 1910 года мои родители сняли дачу под Одессой вместе с семьей Богомольца, известного присяжного поверенного. У Богомольцев был сын приблизительно моего возраста. Мне рассказывали, что как-то на даче было много гостей и о детях забыли. Поздно вечером спохватились, что кровати пусты. Стали искать – сначала в доме, потом в саду, потом на пляже, где нас и обнаружили. Мы задумчиво сидели на песке, держась за руки, в сентиментальном молчании. И когда нас спросили: «Что вы здесь делаете?» – я ответила: «Смотрим на луну». Потом в семье у нас всегда шутили, что это был мой первый роман» [3, с. 43]. Все это столь же трогательно, сколь и сиротливо.

В конце концов случилось то, чего и следовало ожидать: «Постоянные переезды из города в город, чужие квартиры, дачи, гостиницы утомили отца. В 1910 году он пишет Батюшкову из Риги: «И вот мы снова в „петербургской“ гостинице на неопределенное время. Право, мне точно суждено роком бродить без истинного пристанища по чужим углам. А в сорок лет это уже становится тяжело, скучно и печально» [3, с. 47].

Вырисовывалась перспектива поселиться вблизи столицы. Мемуаристка пишет: «С Петербургом отца связывало многое: издательство, работа в газетах, друзья, но жить ему хотелось за городом. Он всегда мечтал о маленьком клочке земли, где он мог завести домашних животных, мог бы растить цветы и овощи <...> Некоторое время

родители колебались между Гатчиной и Царским Селом» [3, с. 48]. Но, в конце концов, избрана была Гатчина.

«Маленький, построенный в начале века, уютный зеленый домик в пять комнат с большой террасой и чудесными тополями вокруг принадлежал подполковнику Эвальду <...> В купчей того времени имелся пункт для будущих хозяев: «Мостовую содержать в чистоте и исправности, а дом и забор с наружной стороны в благовидности» <...> Может, в этом и был секрет «благовидности» всей Гатчины, состоявшей из кокетливых разноцветных домиков, утопавших в зелени <...> Дом купили 17 мая 1911 года в кредит: выплачивали за него вплоть до 1915 года. Об этой кабале отец в шутку написал своему другу Шеплявскому, восторгавшемуся домиком:

Не дача, Вы сказали, – рай,
Ах, в каждом рае есть изнанка,
В сем рае я не барарай¹,
Но только старший дворник банка

Мой отец считал, что второе его призвание – садоводство. С жадностью человека, соскучившегося по любимому делу, он начал копать, сажать, благоустраивать свой маленький участок» [3, с. 49-50].

Гатчина была воспринята усталым Куприным как оазис в пустыне, как цветущее море сирени. К. Куприна цитирует элегическое описание Гатчины в рассказе «Шестое чувство», напечатанном уже в эмиграции: «По-настоящему ему бы надо было называться „Сирень“. Теперь, стоя на высокой вышке, я понял, что никогда еще и нигде за время моих блужданий по России я не видел такого буйного, обильного, жадного, великолепного цветения сирени, как в Гатчине. В ней утопали все маленькие разноцветные деревянные дома и домишки Большой Гатчины и Малой, Большой Загвоздки, Малой, Зверинца и Приората и в особенности дворцового парка и его окрестностей <...> Как радостно и странно было глядеть сверху на этот

¹ Барин (цыганск); прим. К. Куприной.

мощный волнистый сиреневый прибой, набегавший на городишко жеманно-лиловыми, красно-фиолетовыми волнами и белыми грядами, рассыпавшимися, как густое белое овечье руно <...> Весною вся Гатчина нежно зеленеет первыми блестящими листочками сквозных берез и пахнет терпким веселым смолистым духом. Осенью же она одета в пышные царственные уборы лимонных, янтарных, золотых и багряных красок, а увядающая листва белоствольных берез благоухает, как крепкое старое, драгоценное вино» [3, с. 49].

«Участок», впрочем, ощутимо помогал и материально, не хуже, чем сегодняшнему постсоветскому обывателю. К. Куприна приводит фрагмент из написанного Куприным в эмиграции рассказа «Купол св. Исаакия Далматского»: «Я собственноручно снял с моего огорода 36 пудов картофеля в огромных бело-розовых клубнях, вырыл много ядерной петровской репы, египетской круглой свеклы, остро и дико пахнувшего сельдерея, репчатого лука, красной, толстой, упругой грачевской моркови и крупного белого ребристого чеснока – этого верного противоцинготного средства... Весь мой огород был размером в двести пятьдесят квадратных сажень, но, по совести могу сказать, потрудился я над ним усердно, даже, пожалуй, сверх сил <...> Мне не жаль собственности, но мой малый огородишко, мои яблони, мой крошечный благоуханный цветник, моя клубника „Виктория“ и парниковые дыни-кенталупы „Женни Линд“ – вспоминаю о них, и в сердце у меня острая горечь» [3, с. 50]. Завелись домашние животные, появились каменные и деревянные пристройки; неделями тут жила гости. Радостно было «устлать лучинную коробку липовым листом, уложить на дно правильными рядами большие ягоды клубники, опять перестлать листьями, опять уложить ряд и весь этот пышный, темно-красный дар земли отослать в подарок соседу!» [3, с. 50]. Даже работал Куприн по возможности «на природе»: «Летом отец часто уходил писать в сад, в самый тенистый уголок. Там густо росли деревья, тополя, елки, рябина, сирень <...> Посредине маленького пятачка стоял врытый в землю грибовидный стол из толстого сруба и полукруглая скамейка. Там, запасшись холодным квасом, отец часами просиживал вместе со своим стенографом Комаровым.

В дождливую погоду они устраивались на террасе <...> Когда отец работал, весь дом замирал, кажется, даже собаки переставали лаять <...> Зимой он запирался в своем кабинете, где ходил взад и вперед по диагонали из угла в угол, быстро диктуя <...> Он также любил работать ночью один за своим огромным письменным столом из белого ясеня. Каждый именитый гость, приезжавший в Гатчину, писал, рисовал что-нибудь на память на этом столе, потом отец это место собственноручно покрывал лаком <...> Приезжали писатели, поэты, знаменитые актеры, композиторы, музыканты, художники. Часто экспромтом получались прекрасные концерты» [3, с. 51].

Этот рисунок жизни задан был старинной русской дворянской традицией хлебосольства, опиравшейся на идиллический хронотоп «Дома» как некой национальной формы рая в тиши «дворянских гнезд» [10, с. 7]. Без осуждения, с пониманием говорит К. Куприна и о том, что подобная жизнь на широкую ногу обходилась недешево: «...отец уверял, что «нам каждый гость ниспослан богом». Иногда к обеду покупалось до шестнадцати фунтов мяса. Конечно, при таком ведении хозяйства мои родители всегда испытывали нужду в деньгах <...> «Иногда отец затевал в саду шашлыки, для чего были сделаны специальные печурки. Он сам священнодействовал с шампурами, а весь дом сбивался с ног, бегал взад и вперед, исполняя его многочисленные приказания» [3, с. 51]. Видимо, помимо намерения мемуаристики, проскальзывают здесь и штрихи, достойные пера Салтыкова-Щедрина: «Когда Александру Ивановичу хотелось, чтобы соседи пришли поиграть в преферанс, то он вывешивал на помойке, возвышавшейся, как холм, шест с пиратским флагом» [3, с. 70].

Да, «практический человек» из Куприна в конечном итоге был все же никудышный: «Ничего у меня, кроме долгов, нет. Дом два раза заложен, многие вещи, как говорится, в „починке“. Были кое-какие ковры, да камни, да цепочка, все „чинится“. Чем объяснить это: непрактичностью, глупостью или расточительностью? Право, не знаю! Главная причина некоторых лишений – моя доверчивость. Я всегда верил слову человека, – даже тем, которые меня обманывали по два-три раза. В контракты не вчитывался, в юридическом

крючковторстве не разбираюсь, и, быть может, отсюда мои материальные неудачи <...> Ну, да все это меня не удручает. Что бы я был за русский писатель, если бы умел устраивать свои дела или давал бы деньги в рост и всякое такое» [3, с. 68]. Это вполне естественное: Куприн руководствовался общепринятыми среди «прогрессивных литераторов» установками этики русской либеральной мысли, а «русские либералы, вырабатывая систему ценностей, первостепенное место отводили не политике и экономике, а духовно-нравственному развитию личности» [1, с. 12].

При всем при том, воспоминания о гатчинском житье-бытье, о волшебной новогодней елке, об осенних урожаях плодов пронизаны теплым светом искренней любви: «Я до сих пор помню каждый кустик, каждое растение, каждую грядку нашего сада и огорода, с такой любовью посаженного папиными руками. И как природа оплачивала ему чудесными цветами и плодами. Кажется, что нигде больше я не видала такого цветения и не пробовала таких вкусных и ароматных яблок, дынь, груш и ягод. А с какой детской радостью мы с отцом открывали вдруг под деревьями дикие ландыши или грибы маслята вдоль забора под акациями. Как заботливо укутывал он на зиму в рогожку розы, которыми так гордился» [3, с. 55].

Тем не менее, гатчинская идиллия явно не привораживала писателя целиком. К. Куприна не скрывает этого: «В Петербург отец ездил регулярно, но иногда застревал там на недели, попадая под влияние литературной и артистической богемы. Мать самоотверженно боролась с плохим окружением отца, оберегала его покой, вырывала из дурных компаний, выгоняла из дома некоторых литературных «жучков». Но слишком много могучих противоречивых жизненных сил бродило тогда в отце. Даже небольшое количество алкоголя превращало добрейшего Куприна в человека буйного, озорного, с бешеными вспышками гнева» [3, с. 62-63].

Земля давала прилив сил, как Антею, но Куприна явно манили перспективы, так сказать, сразиться с Гераклом, оторвавшим Антея от земли в губительном броске. И титанические силы судьбы не замедлили вмешаться.

Грянула Первая мировая. В большой комнате гатчинском домика был устроен госпиталь на десять коек. Неуклонно приближался фронт. А после октябрьского переворота добавилось беды; гражданская война принесла разруху и голод. Куприн вспоминал утлого старичка, незаметно умершего в углу трамвая от голода; собственный огород превратился из развлечения в тяготу: «Как я проклинал тогда этот корнеплод, этот чертов клубень - картофель. Бывало, нароешь его целое ведро и отнесешь для просушки на чердак. А потом сидишь на крыльце, ловишь разинутым ртом воздух, как рыба на берегу, глаза косят, и все идет кругом от скверного головокружения, а под подбородком надувается огромная гуля: нервы никуда не годятся...» [3, с. 101-102].

Выступление Куприна в белогвардейской прессе в виду наступления Юденича, неудачная попытка писателя войти в доверие к Ленину и т. п. обстоятельства хорошо известны, и на них мы останавливаться не станем. Сосредоточим внимание на перипетиях пути Куприна-эмигранта, полной мерой хлебнувшего тягот изгнанничества. Цепь унижений непрерывна.

«В Хельсинки, – излагает К. Куприна, – как обычно, мы остановились в гостинице «Фения» – самой лучшей, и, только поднимаясь по ее мраморным лестницам, увидев лакеев и кокетливых, в накрахмаленных передниках горничных, мы поняли, насколько мы были оборваны и неприглядны. И вообще наши средства нам не позволяли уже жить в такой гостинице» [3, с. 107]. «В Париж мы приехали 4 июля 1920 года. Нас встретили знакомые – не помню, кто именно, – и проводили в очень посредственную гостиницу „Hotel de Russie“ [Российскую гостиницу (фр.)], находившуюся недалеко от Больших бульваров. Я до сих пор помню отвратительный запах клея и пыли и окна, выходящие в мрачный колодец внутреннего двора» [3, с. 116]. В довершение первого впечатления от Парижа семью Куприных грубо выгоняет как «паршивых иностранцев» хозяин какого-то французского рестораника.

О «полетах» мечтать явно не приходится: «Материальное положение моих родителей было не очень блестящим» [3, с. 121].

Сознание Куприна цепляется за максимально приземленную идею: «С самого приезда в Париж отец мечтал купить домик подальше от шумного города. Тишина и природа были ему необходимы. Но златые горы, которые ему сулила эмигрантская печать, оказались всего лишь жалким заработком. Решили снять дачу в пригороде до той поры, когда переведут на французский язык основные произведения Куприна. Отцу очень хотелось восстановить гатчинский образ жизни – покопаться в земле <...> Дачу сняли в Севр-Вильд'Авре. Как и Гатчина, она была недалеко от железной дороги и в получасе езды от города. Но на этом сходство с Гатчиной кончалось <...> Каменный двухэтажный домик с узким покатым садом. Весной он выглядел привлекательно: цвели сирень и пышные рододендроны, южная сторона дома была обвита чайными ползучими розами. Внутри дача была меблирована в буржуазном французском вкусе, со множеством статуэток, галантных литографий, золоченых амуров и стеклянных колпаков, под которыми хранились свадебный венец хозяев дома и восковые букеты <...> Чужая обстановка, чужая земля и чужие растения на ней стали вызывать у отца горькую тоску по далекой России <...> Ничто ему не было мило. Даже запахи земли и цветов. Он говорил, что сирень пахнет керосином. Очень скоро он перестал копаться в клумбах и грядках» [3, с. 133].

Тем не менее, попытки поддерживать былой тон не прекращаются: «Нахлынули бесконечные гости <...> Вся эта разношерстная, часто голодная эмигрантская братия совсем разорила нас. Маме приходилось брать и кредит провизию у лавочников. Потом мясники и булочники приходили к нам требовать немедленной уплаты, орали и бессовестно обсчитывали. Спустя несколько месяцев, зимою, дошло до того, что отсутствие денег и кредитов заставило нас ходить в лес Сен-Клу собирать дикие каштаны и питаться ими. Хорошо еще, что отец научил маму и меня относиться с юмором к превратностям фортуны <...> Если неожиданно приходили деньги – например, за перевод или за издание книги, за напечатанный в каком-нибудь журнале забытый рассказ, – это в нашей семье называлось: капнуло с

неба! <...> И снова кормились приезжавшие к нам «на огонек» по старому русскому обычаю гости» [3, с. 133-134].

Последнее парижское пристанище Куприных не оставляло ни времени, ни пространства ни для земледельческих трудов и дней, ни для полетов если не тела, то духа: «Вскоре нам посчастливилось найти меблированную квартиру совсем рядом, на бульваре Монморанси, продолжении бульвара Босежур, вдоль железной дороги. Посчастливилось потому, что в то время Париж переживал жилищный кризис <...> Двери и окна двух комнат квартиры выходили в крохотный двухметровый палисадник, в котором упорно не приживались цветы, несмотря на все старания отца, так любившего садоводство. В конце длиннющего коридора находилась третья комната, кабинет отца, которую из-за зеленых обоев он называл своим аквариумом. Там он с трудом, а иногда тщетно, старался писать, чтобы заработать на нашу скудную жизнь <...> Десять лет мы прожили в этой квартире. Десять лет гулял отец вдоль железной дороги, покупал газету в ларьке, переходил воздушную лесенку, чтобы посидеть на скамейке в Булонском лесу, предаваясь грустным думам» [3, с. 158].

Попытки матери затеять какое-нибудь доходное предприятие были жалки и неудачливы. Куприн, чья воля к жизни была теперь почти что парализована, оказался в западне. Он не мог обеспечить семью. «Что значила наша бедность в эмиграции? Прежде всего – неопределенный заработок, неумение предвидеть безденежную полосу и распределить случайно полученные деньги от переводов. Из-за этого вдруг не хватало средств, чтобы заплатить за квартиру, газ, электричество. Открытый кредит в лавочках был настоящей ловушкой: слишком легко набиралось лишнее – и возникали многочисленные долги – заколдованный круг, из которого почти никто из эмигрантов не умел вылезти <...> Это не было нищетой в полном смысле слова, в подвале, со свечой и куском черствого хлеба. Но не оставляли вечная тревога за завтрашний день и тщетные надежды на “чудо“, что, например, примут у отца вдруг сценарий в кино, или я получу блестящий ангажемент, или выиграем в лотерею <...> Чтобы иметь хоть какой-нибудь постоянный заработок, отцу приходилось

соглашаться на редакционную деятельность в газетах и журналах, чуждых ему по своим политическим позициям <...> Страх за завтрашний день в чужой стране часто заставлял людей братья за протившую им работу и принимать подачки от меценатов» [3, с. 150].

Словом, надежд на какие-либо положительные перемены не оставалось вовсе. Наваливалось ощущение безвыходности. Лишь сладкие голоса сирен из советского посольства будили надежды на то, что на оставленной родине, где *нет несчастных*, примут, согреют, призрят...

На дворе 1937 год.

Письма жены Куприна Ксении из Советской России: «...Вот мы и на даче, милая Кисанька, у нас 4 комнаты, пищу приносят из Дома творчества писателей, от них же приходит милая девушка 19 лет, Аня, прибирает квартиру. Как видишь, мы с папой на полном отдыхе. Тишина абсолютная, большой сад, есть грядки и клумбы, ждем рассадку всевозможных душистых цветов...»; «... Мы живем в деревне, тишина и благодать – едим и спим, спим и едим – даже стыдно так жить, но утешаемся, что летом это необходимо, особенно для папы. Папа привык в „Метрополе“ к людям, здесь немного скучает. По праздникам у нас все же бывают гости» [3, с. 256].

«Есть и спать» оставалось недолго.

«Ему стало очень плохо, и врачи срочно решили перевезти его в Ленинград. За ним приехала санитарная машина. В последний момент Александра Александровна вдруг побежала на наш бывший участок и спешно набрала в корзиночку «потомки» когда-то посаженной отцом клубники Виктории. «Из вашего сада, Александр Иванович», – сказала она, поставив рядом с отцом сочные плоды. Куприн благодарно улыбнулся» [3, с. 263]. В Ленинграде врачи решили сделать Куприну операцию. Она не оставила никаких надежд.

Чем же объяснить эту трагическое поражение Куприна, этот столь жалко и бесславно «прерванный полет»? Проще всего, конечно, списать ситуацию на общественные неурядицы, на тектонические сдвиги русской общественной жизни. Но в данном случае стереотип «сожрала-таки матушка-Россия своего сына-поэта»,

похоже, не срабатывает. Наверное, правильнее будет рассудить, что тут источник проблемы – неустойчивость психологии Куприна, неотчетливость его аксиологических ориентиров. Всю жизнь этого яркого, одаренного русского писателя разрывала бинарная противоположность двух ценностных векторов: романтический полет в неизвестные глубины выси – и обжитый мир щедро плодоносящей родной земли, овеванной теплой аурой традиционной культуры. Романтический шторм неба достался на долю молодых авиаторов, детей агрессивного авангарда. Родная же земля, невзирая на судорожные попытки угнездиться в ней, ушла из-под ног бесповоротно. Конфликт между этими разрывающими сознание «двумя безднами» нельзя было заглушить ни алкоголем, ни творчеством, ни попытками взлететь или, напротив, «зарыться» в землю. Тут просматривается не организующая воля личности, а, в конечном счете, отдача на волю стихий. Впрочем, это мнение, идущее вразрез с хрестоматийными оценками Куприна, может быть, естественно, оспорено.

Бесспорно другое. Выросшая в родительской любви, но при этом не слишком вовлеченная в «высокие материи» (результат воспитания?), равно как и не получившая от родителей никакой «путевки в жизнь», вынужденная (не слишком успешно) пробиваться сама – да, тратилась на необходимые в ее положении сценические костюмы, хотя счета родителей были не оплачены! – Ксения Александровна Куприна всеми силами стремилась, как умела, скрыть в своих мемуарах, подобно благонамеренным сыновьям Ноя, растерянность и беспомощность своего престарелого отца, в конечном итоге проигравшего поединок с жизнью. И никакие заклинания О. Михайлова о великом значении Куприна для советских людей, чего дочь писателя будто бы не в состоянии была понять, не могут набросить тень на этот незаметный подвиг дочерней любви.

Література

1. Борисова Ю.В. Этика русского либерализма конца XIX – начала XX веков: автореф. дисс.... кандидата филологических наук: спец.: 09 00.05.

- Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет, 2008. 23 с.
2. Горький М. Воспоминания о Чехове. А.П. Чехов в воспоминаниях современников. Москва: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. 731 с.
 3. Куприна К. Куприн – мой отец. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Худ. лит., 1979. 287 с.
 4. Михайлов О. Куприн. М.: Молодая гвардия, 1981. 268 с.
 5. Михайлов О. Об авторе и об этой книге. К. Куприна. Куприн – мой отец. Москва: Худ. лит., 1978. С. 267–272.
 6. Оболенский В. Ксения Куприна в моей жизни. URL: <http://kornetobolensky.ru/film-kseniya-doch-kuprina/>.
 7. Окулов В. Явка до востребования. Москва: Вече, 2013. 352 с.
 8. Пахарева Т.А. Строкина С. П. Миф о юге в прозе А. И. Куприна. Пособие по спецкурсу для студентов-филологов: спецкурс для студ.-филологов. Севастополь: Вебер, 2012. 196 с.
 9. Поляновский М. Ксения Куприна на родине. Огонёк. 1959. № 21. С. 28.
 10. Попова О.А. Образ дворянской усадьбы в русской прозе конца XIX–начала XX веков: автореф. дисс. ... кандидата филологических наук: спец. 10.01.01. Русская литература. Пермь: Пермский государственный ун-т, 2007. 22 с.

Анотація

Д.С. Бураго. Вимушена приземленість польоту... *Мемуари Ксенії Купріної «Купрін – мій батько»*

У статті, крізь призму сприйняття дочки Купріна Ксенії, розглядається невтомне, але, загалом, безуспішне домобудівництво письменника.

Купрін, як згадує його дочка, постійно намагався налагодити свій домашній побут, але йому заважали постійні борги через марнотратство і схильність до богемності. Дослідник робить висновок, що причинами цієї невдачі були розрив між «авіаторською» мрією про «життя-польот» і загальною «приземленістю» як життєвої, так і творчої установок письменника, чий метод часом межує з натуралізмом.

Згідно з думкою дослідника, людська та пис менницька доля Купріна могла скластися лише на російському ґрунті, й відрив від неї виявився руйнівним. Все життя цього яскравого, обдарованого російського письменника розривала бінарна протилежність двох ціннісних векторів: романтичного польоту в невідомі глибини височини – і обжитий світ щедрої рідної землі,

яка була овіяна теплою аурою традиційної культури. Романтичний штурм неба дістався на долю молодих авіаторів, дітей агресивного авангарду. Рідна ж земля, не"дивлячись на судорожні спроби знайти власне гніздо у ній, вийшла з-під ніг безповоротно. Конфлікт між цими «двома безоднями», що розривають свідомість не можна було заглушити ані алкоголем, ані творчістю, ані спробами злетіти або, навпаки, «зануритися» в землю. Тут спостерігається не воля особистості, а, врешті решт, відступ перед волею стихій. Ця ситуація є символічною для доби, коли російський літератор, який виявився зайвим у власній вітчизні, не знайшов під ногами твердого ґрунту в еміграції.

Все це поглиблювалося через зростання залежності від алкоголю і досягло апогею після відриву від батьківщини.

У статті дається об'єктивна оцінка позиції самої мемуаристки, яку деякі радянські критики прагнули тлумачити перекручено і недоброчливо.

Ключові слова: творчість, домобудівництво, закоріненість, поетична мрія.

Аннотация

Д.С. Бураго. Вынужденная приземленность полета...

Мемуары Ксении Куприной «Куприн – мой отец»

В статье, через призму восприятия дочери Куприна Ксении, рассматривается неутомимое, но, в общем-то, безуспешное домостроительство писателя. Куприн, как вспоминает его дочь, постоянно стремился наладить свой домашний быт, но этому мешали расточительность и склонность к богемности, а также постоянные долги. Исследователь приходит к выводу, что причиной постоянных житейских неудач был разрыв между «авиаторской» грезой о жизни-полете и общей «приземленностью» как житейской, так и творческой установок писателя, чей метод подчас граничит с натурализмом. По мнению исследователя, человеческая и писательская судьба Куприна могла сложиться лишь на русской почве, и отрыв от нее оказался губительным. Всю жизнь этого яркого, одаренного русского писателя разрывала бинарная противоположность двух ценностных векторов: романтический полет в неизвестные глубины выси – и обжитый мир щедро плодоносящей родной земли, оваянной теплой аурой традиционной культуры. Романтический штурм неба достался на долю молодых авиаторов, детей агрессивного авангарда. Родная же земля, невзирая на судорожные попытки угнездиться в ней, ушла из-под ног бесповоротно. Конфликт между этими разрывающими сознание «двумя безднами» нельзя было заглушить ни алкоголем, ни

творчеством, ни попытками взлететь или, напротив, «зарыться» в землю. Тут просматривается не организующая воля личности, а, в конечном счете, отдача на волю стихий. В каком-то смысле, ситуация эта символична для эпохи, когда русский литератор как таковой оказался лишним в собственной отчизне, но не обрел под ногами твердой почвы и в эмиграции. В статье дается объективная оценка позиции самой мемуаристки, которую иные критики истолковывали превратно и недоброжелательно.

Ключевые слова: творчество, домостроительство, почвенность, поэтическая греза.

Summary

D.S. Burago. Forced Grounding of the Flight...

Memoirs by K. Kuprina "Kuprin is my father"

The article is dedicated to the memoirs by K. Kuprina and the writer's indefatigable, but in fact – ineffective, homebuilding seen through the prism of the daughter's vision.

The daughter remembers Kuprin constantly trying to arrange his home everyday life but these actions were interfered with the author's spendthrift habits, the inclination to bohemian way of life and debts.

The author of the article comes to conclusion that the reason of constant life failures was the discrepancy between the "elevated" dream of life as a flight and the general "grounded" routine and creative attitudes of the writer, whose method sometimes borders on naturalism.

Another conclusion the author of the article comes to is that Kuprin's personal and writer's fate was able to form only on the Russian soil, and the state of being remote from it turned out to be destructive.

This talented Russian writer was between that binary opposition of two vectors: the romantic flight into the unknown depth of the high – and the world of native land with the warm aura of traditional culture. The romantic assault of the sky was prepared for the young aviators, for the children of aggressive avant-garde. The native land had disappeared irrevocably regardless of the fact that there were frantic attempts to find steady shelter there.

The conflict between these two contradictory "chasms" planted in consciousness was impossible to cope with neither by alcohol with the purpose to "get buried", nor by any creative activity and the efforts to "take off".

Here we see the lack of the personality will and a weak-willed moving with the current. In this sense the situation, in which the Russian writers became

unwanted in their own country, and at the same time did not manage to find a steady ground in emigration, is symbolic for the epoch,

The author of the article gives the objective analysis of the memoir literature, which is rendered in a biased way by some critics.

Key words: creative activity, homebuilding, poetic vision, steady ground.

Інформація про автора

Бураго Дмитро Сергійович – кандидат філологічних наук, докторант кафедри зарубіжної літератури Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара; проспект Гагаріна, б. 72, м. Дніпро, Україна, 49000; <http://orcid.org/0000-0002-5686-2625>